

I Ma



1952

Утреннее солнце жарило по-августовски, и сырое дыхание болот окутало дымкой дубы и сосны. Пальмовые рощицы стояли непривычно тихие, лишь цапля нет-нет да и вспорхнет с лагуны, медленно, почти бесшумно взмахивая крыльями. И тут Киа — ей было тогда всего шесть лет — услышала, как хлопнула сетчатая дверь. Она только что выскребла из чугунок остатки кукурузной каши и, встав на табурет, опустила чугунок в таз с мыльной водой. И опять тишина, слышно лишь ее дыхание. Кто это вышел из хижины? Точно не Ма, она дверью никогда не хлопает.

Но когда Киа выбежала на веранду, то увидела, как Ма шагает по песчаной тропинке, в длинной коричневой юбке в складку, в тупоносых туфлях на каблучке, под крокодиловую кожу, — это у нее единственная выходная пара. Киа хотела окликнуть ее, но побоялась разбудить Па и, открыв дверь, молча вышла на кирпичное крыльцо, обшитое досками. И увидела в руках у Ма синий чемоданчик. Киа по-щенячьи верила, что Ма непременно вернется

со свертком, поблескивающим от жира, а внутри — мясо или курица с головой на тонкой шее. Но прежде Ма никогда не уходила в крокодиловых туфлях и чемодан никогда с собой не брала.

Там, где тропинка сходится с большой дорогой, Ма всегда оборачивалась — вскинет руку на прощанье, и вперед, по грунтовке, что вела заболоченными лесами, камышовыми берегами в город, — если грунтовку не затопит приливом. Но в тот день она не оглянулась, а двинулась дальше, спотыкаясь о кочки. Среди листвы был виден ее стройный силуэт, потом — лишь белая косынка. Киа метнулась на прогалину, откуда хорошо проглядывалась дорога, — наверняка Ма помашет; но поздно — мелькнул за деревьями синий чемодан, такой неуместный в лесу, и пропал. Сердце налилось тяжестью, вязкой, как болотная жижа, и Киа, вернувшись на крыльцо, стала ждать.

Детей в семье было пятеро, и Киа, младшая, не помнила, сколько лет старшим братьям и сестрам. Жили они с отцом и матерью — ютились, словно кролики в загоне, в грубо сколоченной хижине под дубами, с крыльцом, затянутым проволочной сеткой.

Вышел из дома Джоди — младший из братьев, но все-таки старше Киа на целых семь лет, — встал у нее за спиной. Был он кареглазый и чернявый, как и она; это он научил ее узнавать птиц по голосам, различать на небе созвездия, править лодкой в зарослях меч-травы.

— Ма вернется, — заверил он.

— Не знаю. Она туфли надела крокодиловые.

— Мать детенышей не бросает. Не бывает такого.

— Ты же рассказывал, как лиса бросила лисят.

— Да, но у нее лапа была разодрана. Она бы не прокормила себя и лисят — померли бы все с голоду. Луч-

ше их бросить, дожидаться, пока лапа заживет, а потом новых родить и вырастить. А Ма-то с голоду не умирает, вернется она, — утешал сестру Джоди, хоть и не был уверен.

Сглотнув, Киа прошептала:

— Но у Ма был синий чемодан — видно, далеко собралась.



Хижина пряталась за пальмовыми рощами, что тянулись вдоль песчаной низины до зеленой цепочки лагун и до дальних прибрежных болот. На мили кругом раскинулись заросли императы, травы столь выносливой, что и соленая вода ей нипочем, да торчали деревья, примятые в одну сторону ветрами. С трех сторон хижину окружал дубняк, а в глубине его притаилась ближняя лагуна, где кишмя кишела живность.

Земли здесь захватывали точно так же, как и четыре века назад. Разрозненные участки в пойме не оформляли официально, их присваивали (в естественных границах — до ручья, до засохшего дуба) всякого рода отверженные. Шалаш из пальмовых листьев посреди болота возьмется строить лишь беглец или конченный человек.

Прибрежные болота защищала изрезанная береговая линия, печально известная у мореплавателей как “кладбище Атлантики”: здесь, на побережье будущей Северной Каролины, подводные течения, свирепые штормы и отмели рвали на части суда, точно бумажные кораблики. В журнале одного моряка есть запись: “...шли на шлюпке вдоль берега... но не увидели ни одной бухты... Нас постиг жестокий шторм... пришлось уйти обратно в море,

спасая себя и судно, и нас подхватило быстрое течение... Земля здесь... в основном болота, и мы вернулись на корабль... Разочарование для тех, кто вздумает поселиться в здешних местах”.

Те, кто искал плодородные земли, двинулись дальше, а злосчастные болота, словно сеть, улавливали всякий сброд — мятежных матросов, бродяг, должников, дезертиров и прочих, кому не по нутру законы или налоги. Из тех, кого не убила малярия и не засосало болото, выросло пестрое, разноязыкое племя лесорубов — каждый мог в одиночку свалить топором небольшую рощу, много миль подряд преследовать оленя. Как водяные крысы, занимали они каждый свою территорию, но тому, кто не впишется в здешнее общество, грозило в один прекрасный день сгинуть в болоте. Спустя двести лет приблизились к ним беглые невольники, по-здешнему мароны*, и освобожденные рабы — нищие, измученные, неприкажные.

Край этот суров, но не скуден. И на земле и в воде кишит живность — юркие песчаные крабы, неповоротливые раки, водная дичь, рыба, креветки, устрицы, упитанные олени, жирные гуси. Тот, кому не в тягость самому промышлять ужин, с голоду здесь не умрет.

Шел 1952-й год, и часть здешних земель уже четыре века занимали случайные люди без роду без племени. Большинство осели здесь еще до Гражданской войны. Кое-кто пришел не так давно, в основном после двух мировых войн, без гроша в кармане и без надежд на буду-

* От французского *les Marrons*, дикари, — беглые черные рабы и их потомки смешанного происхождения, на протяжении веков ведущие полукочевой и практически независимый образ жизни вдали от центров европейской колонизации. — *Здесь и далее примеч. перев.*

щее. Болото их не ломало, а обтесывало и, как всякая священная земля, надежно хранило их тайны. Ну и пусть земля эта, кроме них, никому не нужна. Болото есть болото, что с него взять?

Втихаря, как нелегальный виски, проносили сюда поселенцы и свои законы — не те, что высечены на камне или написаны пером, а глубинные, заложенные в человеческом естестве. Изначальные, природные, как у голубей и ястребов. В жизненном тупике, отчаянии или одиночестве человек возвращается к инстинктам, нацеленным на выживание, — суровым и справедливым. Это всегдашние козыри, и по наследству они передаются чаще, чем более спокойные гены. И дело тут не в этике, а в чистой математике. Между собой и голуби дерутся не реже ястребов.



Ма в тот день не вернулась. Вопросов никто не задавал, а Па и подавно — лишь громыхал крышками от кастрюль, и несло от него рыбой и дешевым пойлом.

— Что на ужин?

Братья и сестры, отводя взгляды, пожимали плечами. Па выругался и, прихрамывая, поплелся вон из дома, в лес. Они с Ма порой ссорились, раз-другой Ма даже уходила, но неизменно возвращалась и обнимала всякого, кто подберется под руку.

Старшие сестры приготовили ужин — красную фасоль и кукурузные лепешки, — но за стол, как при Ма, никто не сел. Каждый зачерпнул из чугунка фасоли, плюхнул сверху на лепешку, и разбрелись по углам — кто к себе на матрас, кто на потертый диван.